

DOI: 10.17976/jpps/2016.06.10

## ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИКИ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОССИИ: ОТ 1990-х К 2010-м ГОДАМ

О.Ю. Малинова

МАЛИНОВА Ольга Юрьевна, доктор философских наук, профессор Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”, главный научный сотрудник ИНИОН РАН. Для связи с автором [omalinoval@gmail.com](mailto:omalinoval@gmail.com)

Статья поступила в редакцию: 12.08.2016. Принята к печати: 25.08.2016

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований Российской академии наук “Историческая память и российская идентичность”.

**Аннотация.** Статья посвящена одному из аспектов политики идентичности – эволюции официального исторического нарратива, который описывает генеалогию сообщества, стоящего за Российским государством и “объясняет”, каким образом его прошлое определяет настоящее и будущее. Исследование опирается на теоретическую модель, концептуализирующую историческую составляющую политики идентичности и выделяющую ее структурные факторы в российском контексте. Автор прослеживает формирование официального исторического нарратива, выделяя два больших периода, связанных со сменой концепции – от “новой России” к “тысячелетнему великому государству”, – которые в целом совпадают с президентством Б.Н. Ельцина и В.В. Путина – Д.А. Медведева, соответственно. Конструирование нарратива, поддерживающего новую российскую идентичность, осложняется необходимостью совмещения двух разных культурных моделей работы с прошлым – “проработки трудного прошлого / коллективной травмы” и консолидации макрополитического сообщества. В 1990-х годах официальный нарратив отчасти интегрировал дискурс “преступления и травмы”, однако не справился с задачей консолидации нации. В 2000-х годах предпочтение было отдано апологетическому принципу работы с прошлым, результатом чего стала эклектическая конструкция, в рамках которой тема “преступления и травмы” отводилась маргинальная роль. В 2010-х годах официальная политика памяти приобрела более систематический характер, что означает более активное продвижение апологетической концепции национального прошлого, которая рассматривается как “идеологическое оружие” в борьбе с внешними и внутренними врагами. Но в то же время новый раунд дискуссий о коллективном прошлом открывает определенные окна возможностей для сторонников “проработки трудного прошлого”.

**Ключевые слова:** политика идентичности; макрополитическая идентичность; политика памяти; символическая политика; официальный исторический нарратив; коллективная память; миф; актуализированное прошлое; властвующая элита.

После распада СССР перед Россией, как и перед другими бывшими советскими республиками, встала проблема конструирования новой *макрополитической идентичности*<sup>1</sup>. Данное обстоятельство на протяжении вот уже четверти

<sup>1</sup> Я предпочитаю использовать данное понятие для обозначения идентичности *сообщества, стоящего за российским государством*, поскольку вопрос об основаниях для такой идентичности – должна ли она считаться “национальной”, “гражданской”, “имперской”, “цивилизационной”, “русской”, “российской” и т.д. – по сей день остается дискуссионным. Это понятие удобно, так как позволяет вынести за скобки вопрос об основаниях искомой идентичности, рассматривая споры по данному поводу как важный элемент самого процесса ее конструирования [см. Малинова 2010; Малинова 2011].

века делает важным элементом государственной и общественной повестки дня *политику идентичности*<sup>2</sup>. Настоящая статья посвящена одному из ее аспектов — эволюции подходов властвующей элиты к работе с отечественной историей в меняющемся политическом и идеологическом контексте. Объект моего исследования — слова и действия политиков, которые облечены полномочиями выступать от имени государства, благодаря чему играют особую роль в конструировании новой макрополитической идентичности. Материалами для анализа послужили нормативные акты РФ, публичные выступления президентов и других политиков, занимавших ключевые позиции в федеральной исполнительной и законодательной власти, а также материалы СМИ.

Не имея возможности подробно рассматривать перипетии российской *политики памяти*<sup>3</sup>, я сконцентрирую внимание на эволюции официального (т.е. заявляемого в документах и речах, освященных авторитетом государства) исторического нарратива<sup>4</sup>. Нарратив — сюжетно оформленное повествование, предлагающее связную картину цепи исторических событий, — является основным форматом репрезентации прошлого как в историографии, так и в публичном дискурсе. Это особый тип сообщения, связность которого достигается за счет генеалогического принципа изложения, благодаря чему “событие отсылает к каким-то своим будущим последствиям (именно к последствиям, а не к причинам)” [Зенкин 2003]. Исторические нарративы складываются из событий-фрагментов, которые могут быть развернуты в самостоятельные сюжетные повествования. Предметом моего анализа является формирование так наз. *национального нарратива*, очерчивающего *смысловую схему, которая описывает генеалогию сообщества, полагаемого нацией* (в нашей терминологии — макрополитического сообщества), и “объясняет”, *каким образом его прошлое “определяет” его настоящее и будущее*. В политическом дискурсе, в отличие от профессионального исторического, нарративы прошлого редко имеют развернутый вид. Тем большее значение приобретает их соответствие тому, что Е. Топольски называет “чувством очевидного” реципиентов [Topolski 1999: 205-206]: связи, подразумеваемые политическим текстом, “прочитываются” аудиторией постольку, поскольку они отсылают к уже известным сюжетным линиям.

Конструирование нового официального нарратива в постсоветской России предполагает реинтерпретацию событий, игравших ключевую роль в прежнем, советском нарративе, и выстраивание между ними новых связей. Это происходит не только за счет проговаривания в речах, но и за счет иных инструментов политики памяти — установления государственной символики, изменений в праздничном календаре, трансформации старых и учреждения новых ритуалов, принятия “мемориальных” законов и т.п. Очевидно, что история России представляет собой хотя и богатый, но трудный для освоения символический ресурс, который не так просто адаптировать к новым обсто-

<sup>2</sup> Этим термином я обозначаю *практические и символические действия государства и других политических акторов, направленные на формирование, поддержание и публичное признание конкретной* (в данном случае — макрополитической) *идентичности*. Об истории термина “политика идентичности” и других его значениях см. [Семененко 2011].

<sup>3</sup> Под *политикой памяти* здесь понимается *деятельность государства и других акторов, направленная на утверждение тех или иных представлений о коллективном прошлом и формирование поддерживающей их инфраструктуры*.

<sup>4</sup> Другие аспекты моего исследования нашли отражение в книге [Малинова 2015], которая была завершена летом 2014 г. В ней читатель найдет более обстоятельный анализ российской политики памяти.

ятельствам. События, память о которых настойчиво культивировалась в советский период, впоследствии подверглись переоценке. В то же время многое из того, что служило опорой идентичности до революции, в СССР оказалось предано забвению. Формирование постсоветского нарратива предполагало использование разных стратегий: что-то требовалось “вспомнить”, что-то — попытаться “забыть”, что-то — увидеть в новом ракурсе.

Поиски смысловой схемы отечественной истории, способной заменить прежнюю, советскую<sup>5</sup>, принципиально важны для легитимации нынешнего российского режима. Эта задача имеет не только историографическую, но и политико-идеологическую составляющую, ибо конструирование официального нарратива предполагает выбор из множества интерпретаций, представленных в публичном дискурсе. Такой выбор всегда имеет политическую цену; решения, кажущиеся логичными с точки зрения стратегических целей, могут быть чреваты неприемлемыми издержками.

Замысел настоящего исследования вписывается в интерпретирующую парадигму: моей целью является понимание логики эволюции российской политики идентичности, которая определялась действиями акторов, реагировавших на структурные вызовы, заданные контекстом. Хотя проекты такого рода сконцентрированы на конкретных казусах, они не обязательно имеют исключительно “локальное” значение: во-первых, их результаты поддаются обобщению с помощью классификации или соотнесения с идеальными-типическими конструкциями и пригодны для последующих сравнений, во-вторых, их побочным продуктом могут стать “усовершенствованные понятия”, полезные для других исследований [Porta, Keating 2008: 27].

Я начну с описания теоретической модели, поясняющей логику моего анализа. Она основана на социально-конструктивистском подходе и опирается на фундаментальные посылы концепции символической политики [подр. см. Малинова 2015: 5-31]. Ее разработка предполагала концептуализацию понятий и анализ контекста с целью выделения структурных факторов российской политики памяти. Затем я последовательно охарактеризую основные вехи эволюции официального нарратива российского прошлого, увязывая их по мере возможности с другими аспектами политики идентичности.

#### **ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ: КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ**

Если рассматривать макрополитическую идентичность как *гетерогенную совокупность представлений о сообществе, стоящем за Российским государством, разделяемых его членами*, очевидно, что такие представления имеют определенную структуру [Акопов 2015]. Некоторые исследователи наций и национализма выделяют в концепции коллективного Я позитивную и негативную составляющую. Как поясняет израильский политолог Я. Ядгар, позитивное определение национальной идентичности “утверждает, кто мы есть, из чего складываются наши ценности, каковы наши особенности, что представляет собой наше прошлое и наше общее будущее”; негативное же “утверждает, кем мы не являемся — как в смысле ценностей, практик, особенностей и тому

<sup>5</sup> Г. Гилл называет ее метанарративом, поскольку собственно исторический нарратив соединялся в ней с упрощенной версией марксистской теории прогресса. По мысли австралийского политолога, советский метанарратив был “главным культурным посредником между режимом и народом” [Gill 2011: 3].

подобных вещей, которые ‘нам чужды’, так и в смысле прямой идентификации определенных коллективов в качестве ‘другого’” [Yadgar 2003: 52].

Образы национального прошлого участвуют в формировании как позитивной, так и негативной составляющей макрополитической идентичности. При этом они не исчерпывают все ее содержание. Как точно подметил Ядгар, концепция Нас включает также образы коллективного будущего, набор разделяемых ценностей, стереотипы относительно Наших особенностей и практик, воспринимаемые как национально специфические, соотношение со Значимыми Другими; я бы добавила к этому перечню определение физических и символических границ сообщества и принципы принадлежности к нему / исключения из него.

Историческая составляющая играет в такого рода конструкциях особую роль, поскольку идентичности сообществ, стоящих за современными государствами, так или иначе воображаются в рамках модели нации [Calhoun 1999], т.е. культурно однородного сообщества, представленного многими поколениями людей, проживавших на данной территории. Смысловая схема прошлого служит структурообразующим стержнем макрополитической идентичности: она является легитимирующим основанием других ее элементов и одновременно логически с ними увязана. Применительно к российскому случаю это означает, что отсутствие определенности в вопросах об основаниях идентификации (нация, цивилизация, многонациональный народ и т.п.), принципах принадлежности к макрополитическому сообществу (граждане РФ, россияне, русские / русскоязычные и т.п.), “формуле” национальных ценностей (европейская страна, Евразия или “особая цивилизация”, светское государство или оплот православия и т.п.) требует ответной двусмысленности официального исторического нарратива.

142

Прошлое — это то, чего больше нет. Политика идентичности работает с социальными представлениями о прошлом. При этом она имеет дело не столько с историей — систематической реконструкцией прошлого, основанной на критическом отборе, — сколько с тем, что принято называть коллективной памятью, т.е. с социально разделяемым культурным знанием о прошлом, которое опирается на разные источники и отличается принципиальной неполнотой и избирательностью. Нередко утверждают, что коллективная память оперирует мифами — упрощенными и эмоционально окрашенными нарративами, которые сводят сложные и противоречивые исторические процессы к удобным для восприятия простым схемам и воспринимаются членами группы как нечто “очевидное”. Мне представляется более точным говорить об актуализированном прошлом (по-английски — *usable past*) как о своеобразном репертуаре исторических событий, фигур и символов, которые наделяются смыслами, в той или иной мере значимыми для современных политических и культурных практик. Ядро этого репертуара образовано уже “состоявшимися” мифами, периферия же представляет собой пестрый набор не столь “самоочевидных”, но, тем не менее, узнаваемых смысловых ассоциаций.

Перспективы закрепления в массовом сознании той или иной модели макрополитической идентичности существенно зависят от конфигурации репертуара актуализированного прошлого, который в известном смысле является общим “достоянием” всех участников публичного пространства и может служить предметом интерпретации, присвоения и оспаривания. Вместе с тем властвующая элита распоряжается ресурсами, позволяющими формировать “инфраструктуру” коллективной памяти. В частности — регулировать со-

держание школьных программ и учебников, вносить изменения в календарь праздников и памятных дат, учреждать государственную символику и награды, регламентировать официальные ритуалы, определять символическую конфигурацию публичных пространств (топонимия, памятники) и т.д. Поэтому можно сказать, что актуализированное прошлое является для политиков как ресурсом, применение которого сопряжено с определенными выгодами и рисками, так и объектом символических инвестиций.

Политика памяти в постсоветской России изначально представляла собой “поле битвы”, на котором сталкивались не просто соперничающие идеологические интерпретации ключевых исторических событий, но принципиально разные культурные модели “работы над прошлым”.

С одной стороны, продолжалось начатое еще в период перестройки переосмысление истории, связанное с “восстановлением белых пятен” и осознанием “человеческой цены” того, что в советском нарративе представлялось в качестве достижений социалистического режима. Такая политика памяти вписывается в модель “проработки трудного прошлого / коллективной травмы”<sup>6</sup>, которую с большим или меньшим успехом осваивают многие страны, получившие в наследие от бурного и трагического XX века “память” о гражданских войнах, массовых репрессиях, этнических чистках, геноциде и иных преступлениях против человечности. Политика “проработки прошлого” связана с “дискурсом о преступлении и травме”, с “устранением причиняющей боль асимметрии памяти” жертв, с разоблачением и осуждением преступников, и, в конечном счете, — с поисками примиряющего нарратива, позволяющего противоборствующим сторонам “включить свое противоположное видение событий в общий контекст более высокого уровня” [Ассман 2014: 69, 72]. Реализация этой программы сопряжена с очевидными рисками: ведь “травма — в отличие от героического нарратива — не мобилизует и не консолидирует, а нарушает и даже разрушает идентичность” [там же: 69]. И хотя успех в деле критической “проработки прошлого” в конечном счете может оказаться фактором, сплачивающим нацию, далеко не всем обществам удастся последовательно проводить этот курс. Тем не менее, как свидетельствует опыт Германии, Франции, Испании, Австрии и других стран, “проработку трудного прошлого” можно отложить, но ее нельзя отменить. В постсоветской России эта задача тоже остается актуальной, и властвующая элита не может ее игнорировать, поскольку существует достаточно влиятельная коалиция общественных сил, настаивающих на выполнении программы “десталинизации”. Кроме того, эта модель политики памяти постепенно утверждается в качестве международной культурной нормы, и явный отказ от нее сопряжен с потерями для репутации России.

С другой стороны, после распада СССР возникла необходимость конструирования исторического нарратива, способного служить основанием новой макрополитической идентичности. В российском случае эта типовая задача политики памяти, которую элиты многих стран решали в процессе нациестроительства, осложняется тем, что речь идет о “выкраивании” истории “нации” для сообщества, выступающего наследником ядра империи (даже, точнее, двух империй). Отсутствие определенности относительно других элементов

<sup>6</sup> Мне представляется, что хотя коллективная травма часто выступает определяющим фактором такой политики памяти, неверно сводить ее к этому аспекту: речь идет о комплексном процессе, который имеет разные векторы для разных групп.

конструируемой идентичности (в частности, оснований идентификации и символических / географических границ сообщества) дополнительно усугубляет ситуацию. Вместе с тем *политика памяти, направленная на консолидацию нации*, имеет определенную логику: в таких случаях основной упор делается на событиях и символах прошлого, укрепляющих положительные представления нации о себе [Smith 1999; Coakley 2004; Каспэ 2012]. Полезным “строительным материалом” для консолидирующих национальных нарративов оказывается “память” о былых победах, о ключевых вехах строительства государства, о вкладе соотечественников в сокровищницу мировой культуры и т.п. Наглядной иллюстрацией этого репертуара могут служить памятники государственным деятелям, полководцам, героям и деятелям культуры, установленные в столицах разных стран мира. В некоторых случаях целям нациестроительства с успехом служат и символы былых поражений, но для многосоставных наций, подобных российской, данный вариант не подходит [Mock 2012: 260].

У описанных моделей политики памяти разные задачи и разные механизмы. Первая из них является ответом на “асимметрию памяти”, вызванную принудительным “забвением”. Она работает с наследием “преступления и травмы”, которое разделяет общество на группы и побуждает испытывать скорбь, гнев, стыд и другие сложные чувства. Вторая модель, напротив, нацелена на консолидацию нации вокруг наследия прошлого, которым можно гордиться. Оба типа политики памяти построены на “вспоминании” и “забвении”, но осуществляют их на свой лад. В постсоветской России эти разные политики памяти проводятся одновременно, и за ними стоят разные коалиции общественных сил. Это делает конструирование официального исторического нарратива крайне сложной политической задачей. На протяжении четверти века после распада СССР российские властвующие элиты пытались решать ее разными способами.

### КРИТИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ 1990-х: КОНЦЕПЦИЯ “НОВОЙ РОССИИ”

1990-е годы прошли под знаком острой конфронтации между сторонниками и противниками президента Б.Н. Ельцина. Первые прочно контролировали исполнительную власть, однако законодательная власть в лице сначала Верховного Совета РФ, а затем палат Федерального Собрания РФ была ареной противостояния проправительственных и антиправительственных фракций. И хотя “властью” называли правительство, “оппозиционеры” в парламенте обладали достаточно серьезными рычагами влияния на символическую политику – не только потому, что легитимация наиболее важных решений требовала принятия законов, но и потому, что очевидно спорные вопросы из этой области порой даже не поднимались из опасения усугубить неблагоприятный политический расклад. Не менее серьезные противоречия возникали между центром и регионами, часть которых проводила собственную политику идентичности, не слишком оглядываясь на федеральную власть<sup>7</sup>. Учитывая, что критики правительства имели практически свободный доступ к СМИ, следует признать, что продвигаемый Ельциным национальный нарратив<sup>8</sup> имел гораздо меньше шансов на гегемонию, чем позднее путинский.

<sup>7</sup> На данном этапе именно это, а не имперские амбиции властвующей элиты, создавало проблемы для конструирования макрополитического сообщества по модели нации.

<sup>8</sup> О политике памяти этого периода см. [Зубкова, Куприянов 1999; Smith 2002; Sherlock 2007; Копосов 2011; Gill 2013; Малинова 2015 и др.].

В 1990-х годах российская идентичность конструировалась на основе новых, “демократических” ценностей, ориентиром для которых служил идеализированный “опыт Запада”. Легитимация политического курса первого президента РФ опиралась на исторический нарратив, в котором сочетались обе описанные выше модели политики памяти. Ельцин и его соратники использовали перестроечный дискурс о “преступлениях и травме” для обоснования *критического нарратива*, мобилизующего на “демонтаж тоталитарного порядка”<sup>9</sup>. Формально разделяя цели сторонников “проработки прошлого”, ельцинская элита ставила во главу угла не столько преодоление “асимметрии памяти”, сколько оправдание собственного политического курса и конструирование идентичности макрополитического сообщества на новых принципах. Критика советского опыта служила стержнем этой конструкции; отношение же к дореволюционной истории было более сложным.

С одной стороны, начатые преобразования интерпретировались как “восстановление связи времен”, разорванной в годы советской власти. Однако эта линия проводилась не слишком последовательно. Ее реализация требовала кропотливой работы по пересмотру советской исторической концепции (в свою очередь впитавшей многое из дореволюционного нарратива героического “революционно-освободительного движения”). Здесь трудно было ожидать быстрых результатов, но важно было поставить соответствующие цели. К сожалению, в начале 1990-х годов символическая политика властвующей элиты была подчинена решению текущих проблем. Казалось, что главное — сделать постсоветский переход необратимым, остальное “само собой устроится”.

С другой стороны, в выступлениях Ельцина и представителей его “команды” можно обнаружить немало критических высказываний о дореволюционном прошлом [см. Малинова 2015: гл. 4]. В основе ельцинского нарратива лежала *идея “новой России”*, порывавшей с негативным наследием как советского, так и имперского периода. Вспоминая о прошлом, первый президент РФ часто прибегал к противопоставлениям (“за всю тысячелетнюю историю России культура и ее деятели не имели столько свободы творчества и политической независимости, как теперь”<sup>10</sup>, “Россия хорошо знает, что такое право силы. Осознать силу права только предстоит”<sup>11</sup> и т.п.).

Критический нарратив нашел отражение не только в текстах, но и в практических действиях (изменение официальной символики, массовое переименование топографических объектов, демонтаж памятников, изменение официальных ритуалов, трансформация старых советских праздников и прочее). Вместе с тем мы располагаем документом, в котором он излагается весьма подробно и обстоятельно. В феврале 1996 г., в рамках фактически начавшейся избирательной кампании, Ельцин включил в свое ежегодное послание Федеральному Собранию РФ большой фрагмент, посвященный истории XX в. Призывая соотечественников найти верную шкалу для оценки событий 1990-х годов, он

<sup>9</sup> Эта формулировка имела отчетливую коннотацию с идеологией времен холодной войны.

<sup>10</sup> Ельцин Б.Н. 1994. *Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: “Об укреплении Российского Государства”*. Доступ: [http://www.intelros.ru/2007/02/04/poslanija\\_prezidenta\\_rossii\\_borisa\\_elcina\\_federalnomu\\_sobraniju\\_rf\\_1994\\_god.html](http://www.intelros.ru/2007/02/04/poslanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_1994_god.html) (проверено 11.08.2016).

<sup>11</sup> Ельцин Б.Н. 1995. *Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: “О ответственности государственной власти в России”*. Доступ: [http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie\\_prezidenta\\_rossii\\_borisa\\_elcina\\_federalnomu\\_sobraniju\\_rf\\_o\\_dejstvvennosti\\_gosudarstvennoj\\_vlasti\\_v\\_rossii\\_1995\\_god.html](http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_o_dejstvvennosti_gosudarstvennoj_vlasti_v_rossii_1995_god.html) (проверено 11.08.2016).

пытался оправдать распад СССР и объяснял тяготы реформ необходимостью выживания после краха коммунистического проекта, “не выдержавшего испытания на большой исторической дистанции”<sup>12</sup>. Президент крайне негативно характеризовал предложенную большевиками “сверхжесткую мобилизационную модель развития” и демонстративно отказывался от позитивной оценки того, что прежде ставилось в заслугу советскому режиму: он подчеркивал, что “превращение России в мощную военно-индустриальную державу было достигнуто надрывом сил народа, за счет колоссальных людских потерь”<sup>13</sup>.

Примечательно, что в своем экскурсе в политическую историю XX в. Ельцин полностью обошел вниманием тему победы в Великой Отечественной войне, которая в советском нарративе рассматривалась как подтверждение “правоты” и косвенное оправдание “перегибов” коммунистического режима. Единственное упоминание о войне было помещено в заключительную часть послания, завершавшегося словами: “Верю в свое поколение, мужавшее в годы войны и тяжелой мирной жизни, которое не сломить под грузом нынешних проблем”<sup>14</sup>. Это в полной мере соответствовало логике официального нарратива 1990-х годов. Критически оценивая прежние политические режимы, Ельцин представлял фактором преемственности истории не государство, а народ, “сумевший сохранить, несмотря ни на что, свои лучшие национальные черты и качества...”<sup>15</sup>. Великая Отечественная война вписывалась в новый официальный нарратив как подвиг народа, совершенный не благодаря советскому строю, а вопреки ему. Такая интерпретация соединяла “героизм” и “травму”, благодаря чему конструкция оказывалась не только достаточно гибкой, чтобы вместить “трудное прошлое”, но и могла служить хорошей основой “гражданского патриотизма”.

146 О второй половине 1990-х годов можно говорить как о самостоятельном этапе, поскольку в этот период произошла частичная корректировка символической политики: на смену радикальному отрицанию “тоталитарного прошлого” пришла установка на “примирение и согласие”. Она отчетливо проявилась после выборов 1996 г. (приглашение к разработке “национальной идеи”, переименование 7 ноября в День примирения и согласия, история с перезахоронением останков членов царской семьи и др.), однако первые признаки нового подхода обозначились уже во время подготовки к празднованию 50-летия Победы. Именно тогда были заложены основы современного ритуала празднования Дня Победы (ежегодные военные парады на Красной площади, Красное Знамя Победы в качестве официального символа и др.). Эти “уступки” не помогли Ельцину и его соратникам одержать верх в конфронтации с “народно-патриотической оппозицией”, развивавшей контрнарратив, сконструированный за счет частичной трансформации советской исторической концепции (подр. см. [Малинова 2014: 56-61]).

Критический нарратив оказался не слишком эффективным инструментом консолидации макрополитического сообщества. Причины его провала были связаны не только с символической политикой, однако нельзя не признать,

<sup>12</sup> Ельцин Б.Н. 1996. *Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: “Россия, за которую мы в ответе”*. Доступ: [http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie\\_prezidenta\\_rosii\\_borisa\\_elcina\\_federalnomu\\_sobraniju\\_rf\\_rossija\\_za\\_kotoruju\\_my\\_v\\_otvete\\_1996\\_god.html](http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html) (проверено 11.08.2016).

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> Там же.



что “качество” разработанной смысловой конструкции, а также практика ее “применения” сыграли свою роль. С одной стороны, официальный нарратив 1990-х годов плохо справлялся с задачей формирования позитивного образа Нас: он не предлагал картину прошлого, которым можно гордиться, относя “хорошие времена” к неопределенному будущему. Такая смысловая конструкция вряд ли могла удовлетворить потребности общества, переживавшего травму распада СССР и масштабной постсоветской трансформации. С другой стороны, политика идентичности 1990-х годов не отличалась последовательностью и настойчивостью: властвующая элита не только не стремилась укоренить “демократические” ценности в отечественной либеральной традиции, но и не занималась систематически формированием “инфраструктуры” памяти о ключевых событиях новейшего периода, которые подкрепляли бы концепцию “новой России”.

### **ЭКЛЕКТИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ 2000-х ГОДОВ: ИДЕЯ “ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ РОССИИ”**

К началу 2000-х годов сложилась коалиция политических сил, выступавших за пересмотр прежнего, критического подхода к конструированию национального нарратива. В нее входили не только представители лево-патриотического крыла, но и центристы-“державники”, которые не были апологетами советского режима, но полагали, что государство должно заботиться о повышении коллективной самооценки сограждан. Высокий уровень поддержки В.В. Путина в первые же месяцы его пребывания на посту президента был в значительной степени обусловлен тем, что он ответил на этот запрос. Напомним, что перемены коснулись не только содержания официального дискурса, но и коммуникативных практик. В 2000-х годах был взят курс на установление “согласия сверху” путем частичного ограничения плюрализма в “ядре” публичной сферы: наиболее важные каналы массовой коммуникации были поставлены под контроль государства.

Не будучи, в отличие от своего предшественника, связан принадлежностью к той или иной стороне идеологического противостояния 1990-х годов, В.В. Путин мог себе позволить использовать идеи и символы из репертуара “народно-патриотической оппозиции”, казавшиеся абсолютно неприемлемыми “демократам”. Первым шагом в этом направлении стало принятие в 2000 г. федеральных конституционных законов о государственных символах России, утвердивших трехцветный флаг, взятый на вооружение “демократическими” силами в дни августовского путча 1991 г., герб с двуглавым орлом — символ империи Романовых, и гимн с новыми словами, положенными на “старую” советскую мелодию. Аргументируя этот компромисс, Путин осуждал позицию тех, кто “предельно идеологизирует” эти символы государства и связывает с ними исключительно “мрачные стороны нашей истории”. По словам президента, *“если мы будем руководствоваться только этой логикой, тогда мы должны забыть и достижения нашего народа на протяжении веков”*<sup>16</sup>. Далее он приводил примерный список “достижений”, складывавшийся из трех категорий: а) заслуги соотечественников на почве культуры и науки, получившие мировое признание; б) военные победы прошлого (прежде всего — в Великой Отечественной войне); в) достижения в области освоения космоса. Все это — типичные инструменты апологетической “нациестроительной” политики памяти. Однако, будучи взяты из исторических эпох, которые в прежних

<sup>16</sup> Путин В.В. 2000. Не жечь мостов, не раскалывать общество. — *Российская газета*. № 233 (2597). 06.12.

официальных нарративах (разных версиях советского и ельцинском) противопоставлялись друг другу, они не были связаны “очевидной” смысловой схемой. То же можно было сказать о наборе утвержденных по инициативе Путина государственных символов. Как заметил один из комментаторов, “Путин по существу провозгласил доктрину тотальной преемственности, в которой должны соединиться и царские, и советские, и ‘демократические’ ценности”<sup>17</sup>. “Доктрина тотальной преемственности” знаменовала новый, путинский подход к политическому использованию прошлого: был взят курс на выборочную “эксплуатацию” исторических событий, явлений и фигур, соответствующих конкретному контексту, причем основной упор делался на формирование положительного образа Нас.

Новый официальный нарратив строился по эклектическому принципу. Его смысловым стержнем стала проецируемая на всю “тысячелетнюю историю” России идея великодержавности. Именно государство (вне зависимости от менявшихся границ и политических режимов) выступает в качестве ключевой ценности, скрепляющей макрополитическую идентичность. Идея “сильного государства” как основы былого и будущего величия России была ясно сформулирована Путиным в 2003 г., когда он назвал *“поистине историческим подвигом”* граждан России *“удержание государства на обширном пространстве, сохранение уникального сообщества народов при сильных позициях страны в мире...”*<sup>18</sup>. Примерно с того же времени из речей президента исчезают рассуждения о контрасте между “старой” и “новой” Россией [Малинова 2015: 161-164]. На смену ельцинской концепции пришла идея *“тысячелетней России”*, сложившейся в великое государство, способное завоевать “сильные позиции в мире”.

148 Новая смысловая схема коллективного прошлого оформлялась постепенно. Решительный разрыв с прежним официальным нарративом произошел лишь в начале второго президентского срока Путина, когда в послание Федеральному Собранию 2005 г. были включены известные слова о распаде СССР как *“крупнейшей геополитической катастрофе века”*<sup>19</sup>. Они явно противоречили оценке, многократно озвученной Ельциным (ср.: *“Советский Союз рухнул под тяжестью всеобъемлющего кризиса, разодранный на куски экономическими, политическими и социальными противоречиями”*<sup>20</sup>). Интерпретация распада СССР (что де-факто стало актом рождения нового Российского государства) как случайной катастрофы, спровоцированной действиями злонамеренных политиков, прекрасно вписывалась в концепцию “тысячелетней” великой державы. Однако она полностью противоречила ельцинскому нарративу, который представлял крах “тоталитарного” коммунистического режима как историческую необходимость и описывал выбор 1990-х годов как изменение траектории развития.

<sup>17</sup> Васильков Ю. 2000. Третий путь в XXI век. – *Российская газета*. № 241 (2605). 22.12.

<sup>18</sup> Путин В.В. 2003. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. – *Президент России. Официальный сайт*. 16.05. Доступ: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21998> (проверено 11.08.2016).

<sup>19</sup> Путин В.В. 2005. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. – *Президент России. Официальный сайт*. 25.04. Доступ: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931> (проверено: 11.08.2016).

<sup>20</sup> Ельцин Б.Н. 1996. *Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: “Россия, за которую мы в ответе”*. Доступ: [http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie\\_prezidenta\\_rossii\\_borisa\\_elcina\\_federalnomu\\_sobraniju\\_rf\\_rossija\\_za\\_kotoruju\\_my\\_v\\_otvete\\_1996\\_god.html](http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html) (проверено 11.08.2016).

Вместе с тем “реабилитация” советского в официальной символической политике происходила избирательно: наиболее одиозные моменты были исключены из репертуара “используемого” прошлого. В выступлениях Путина и позднее Д.А. Медведева можно обнаружить немало критических оценок советского опыта; речь не шла о его тотальной апологии. Тем не менее тема “трудного прошлого” перестала быть частью официального нарратива<sup>21</sup>. История СССР оказалась “политически пригодной” прежде всего как история великой державы, которая, несмотря на все трудности, смогла осуществить (пусть и не вполне совершенную) модернизацию и превратиться в ведущего актора мировой политики. Тоталитарные практики и репрессии были “вынесены за скобки”. Как заметил И. Калинин, мы имеем дело с “политикой, направленной на перекодирование ностальгии по советскому прошлому в новую форму российского патриотизма, для которого ‘советское’, будучи лишено исторической специфики, рассматривается как часть широко понимаемого... культурного наследия” [Kalinin 2011: 157]. Примечательно, что сходная редукция “памяти” имела место в массовом сознании [Дубин 2011: 18-19].

Центральное место в нарративе периода Путина занимает тема Великой Отечественной войны. Символ Великой Победы оказался наиболее “пригодным” для политического использования элементом актуализированного прошлого, поскольку он основательно укоренен в массовом сознании, отличается “поливалентностью”, позволяющей приписывать ему дополнительные смыслы, и не подвергается серьезному оспариванию (по крайней мере, в самой России). Других символов, обладающих такими же ценными для политики идентичности качествами, в российском репертуаре актуализированного прошлого попросту нет. Не случайно еще в 1990-х годах постсоветская властвующая элита уделяла так много внимания формированию новых ритуалов празднования Дня Победы [Smith 2002: 85-90; Малинова 2015: 91-100]. Трансформация официального исторического нарратива в 2000-х годах повлекла за собой реинтерпретацию символа Победы: он снова стал ассоциироваться с “великим государством”, а тема “героизма” заслонила собой тему “травмы” и страданий. Анализ речей президентов Путина и Медведева по случаю Дня Победы выявляет последовательное умножение смысловых “валентностей” этого символа. Примечательно, что значительная часть “инноваций” связана с артикуляцией ключевых аспектов “дискурса о нации”, выделенных Э. Смитом — национальной идентичности, единства и автономии [Смит 2004: 343], а также с возможностью репрезентировать Россию как “равную” и “подобную” Западу [Малинова 2015: 105-107]. Акцент перемещается с самого исторического события на качества современного макрополитического сообщества, являющегося наследником триумфа 1945 г. Не случайно Н.Е. Копосов высказал предположение, что миф о войне в постсоветской России выполняет функцию “мифа происхождения”, которую

<sup>21</sup> Случаи обращения к этой теме первых лиц государства редки, см.: [Малинова 2015: 171-173]. В 2010 г. Д.А. Медведев дал однозначную официальную “государственную оценку” Сталину. Накануне Дня Победы он заявил в интервью “Известиям”, что “*Сталин совершил массу преступлений против своего народа. И несмотря на то, что... под его руководством страна добивалась успехов, то, что было сделано в отношении собственного народа, не может быть прощено*” (Медведев Д.А. 2010. Интервью газете “Известия”. — Президент России. Официальный сайт. 07.05. Доступ: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/7659> (проверено 11.08.2016). Оценки же Путина, который время от времени поднимает эту тему в режиме произвольного диалога, всегда намеренно неоднозначны: не солидаризируясь с теми, кто настаивает на “возвращении” Сталина в пантеон героев, он неизменно демонстрирует понимание их точки зрения.

в силу резкого расхождения оценок не могут выполнять события, связанные с распадом СССР [Копосов 2011: 163-164]. Триумфалистская версия “памяти” о войне оказывается менее гибкой конструкцией, нежели ельцинская, сочетающая темы “героизма” и “травмы”. Вместе с тем она играет смыслообразующую роль в путинском историческом нарративе, сосредоточенном на идее “великого государства”: Победа 1945 г. придает смысл “историческому подвигу” народа, “создавшего и удерживающего” это государство.

Официальный нарратив, оформившийся к середине 2000-х годов, отличался принципиальной эклектичностью: он сочетал элементы противоположных — в логике прежних “символических битв” — смысловых систем, не выстраивая между ними ясных связей. Это в полной мере соответствовало неопределенности относительно других элементов макрополитической идентичности: в ситуации, когда в обществе шла борьба по вопросам о принципах идентификации, включения, границ сообщества и отношений со Значимыми Другими, эклектический нарратив служил удобным инструментом технической консолидации. В 2000-х годах Путин и его спичрайтеры предпочитали использовать прошлое по принципу меню *a la carte*, уклоняясь от прямого участия в общественных спорах о прошлом. При этом предпочтение отдавалось тому, что вписывалось во фрейм “славного прошлого”. Другими словами, в этот период политика памяти, проводившаяся от имени государства, эволюционировала в сторону *апологетической “нациестроительной” модели*.

В этот же период в лице доктрины “суверенной демократии”, казалось, была найдена оптимальная “ценностная формула” российской идентичности, позволявшая демонстрировать одновременно актуальное (а не отложенное в будущее) “сходство” с Западным Другим и “самостоятельность” в реализации общих ценностей. Кстати, тексты В. Суркова, излагавшие основы этой доктрины, могут служить хорошим примером эклектического подхода к работе с прошлым: их автор пытался наполнить содержанием “удобную” в функциональном отношении схему за счет придания новых, непривычных смыслов символам прошлого, вырванным из контекста узнаваемых нарративов [Сурков 2006; 2007]. Такая технология позволяла обозначить контуры модели коллективной идентичности, предлагаемой властвующей элитой, однако не позволяла сформировать *связную концепцию* коллективного прошлого, настоящего и будущего.

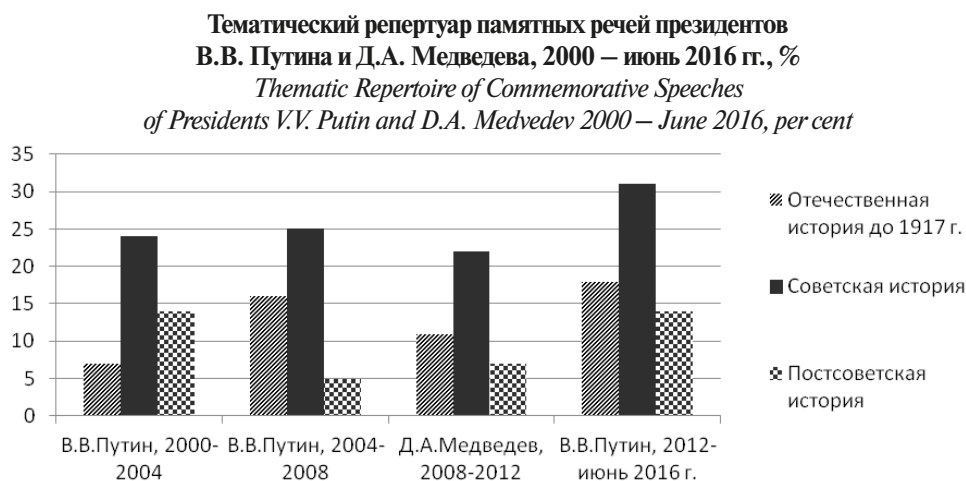
Символическая политика периода президентства Д.А. Медведева может рассматриваться как продолжение и развитие эклектики периода первых двух президентских сроков Путина, хотя в ней наблюдались и новые тенденции. Они были связаны как с изменением внешнего контекста (“войны памяти” и вынужденная борьба с “фальсификацией истории”), так и с некоторыми инновациями спичрайтеров и личностными особенностями лидера.

При всех принципиальных различиях у политик памяти 1990-х и 2000-х годов была одна общая особенность: официальный нарратив, озвучиваемый в речах первых лиц и “прочитываемый” в решениях федеральной законодательной и исполнительной власти, не поддерживался целенаправленной реконструкцией “инфраструктуры” коллективной памяти.

В 1990-х годах, предлагая концепцию “новой России”, Ельцин и его соратники не сумели подкрепить ее политическими ритуалами, праздниками, эмоционально насыщенными “изобретенными традициями”, закрепляющими “вехи” новейшей истории.

В 2000-х годах, сделав выбор в пользу “тысячелетней России”, путинская элита удивительно мало заботилась о насыщении этой конструкции узнаваемыми символами. Анализ тематического репертуара памятных речей<sup>22</sup> президентов В.В. Путина и Д.А. Медведева показывает, что основным “поставщиком” поводов для обращения к прошлому остается история советского периода (см. рис.), причем около трети всех памятных речей посвящены Великой Отечественной войне.

Рисунок (Figure)



Доля “постсоветских” поводов резко снизилась после первого переизбрания В.В. Путина, что было связано с отказом от концепции “новой России”, но затем постепенно стала вновь расти, в том числе — за счет коммеморации событий новейшего, путинского периода<sup>23</sup>. Самый же долгий, дореволюционный отрезок “тысячелетней истории” “используется” в президентской риторике не так уж часто, в основном — в связи с юбилеями. Единственным казусом “изобретения традиции”, связанной с “тысячелетним прошлым”, в рассматриваемый период было учреждение Дня народного единства в 2004 г. (вопрос о том, насколько успешным был этот проект — предмет для отдельного разговора). Очевидно, что “инфраструктура” коллективной памяти, доставшаяся по наследству от СССР, не могла служить хорошей опорой для концепции “тысячелетней России”, поскольку выстраивалась под нарратив, который весьма критически “препарировал” отечественное прошлое. Однако в 2000-х годах властвующая элита не только не предпринимала особых усилий для связывания эклектического нарратива, но предпочитала обходиться позитивными символами уже актуализированного прошлого. Лишь в последние годы, после переизбрания В.В. Путина на третий срок, ситуация стала меняться.

В начале своего третьего президентского срока В.В. Путин столкнулся с необходимостью разработки более определенной идеологии, рассчитанной

<sup>22</sup> То есть речей, произносимых по неким поводам, связанным с историческими событиями — в связи с праздниками, юбилеями и прочим.

<sup>23</sup> О формировании соответствующей традиции свидетельствует, например, по мнению автора, празднование в 2015 и в 2016 гг. годовщины присоединения Крыма к России.

на мобилизацию “большинства” против оппозиционного “меньшинства”. Эклектичные конструкции 2000-х годов позволяли поддерживать гегемонию властного дискурса, консолидируя “путинское большинство” вокруг набора аморфных идей, дававших простор для разных интерпретаций. Эта стратегия работала постольку, поскольку она препятствовала кристаллизации влиятельных альтернатив. Протестное движение 2011-2012 гг., по-видимому, было воспринято как потенциальная угроза сформировавшейся гегемонии. Во всяком случае уже во время третьей избирательной кампании Путина в его коммуникативной стратегии наметились изменения [Малинова 2012], которые позже переросли в системную корректировку курса.

### **ПРЕОДОЛЕВАЯ “ДЕФИЦИТ ДУХОВНЫХ СКРЕП”: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 2000-х ГОДОВ**

Политика идентичности стала одним из приоритетных направлений государственного управления, что выразилось не только в ряде программных заявлений В.В. Путина (в том числе – в предвыборной статье про “национальный вопрос”, констатации “дефицита духовных скреп” в послании Федеральному Собранию 2012 г., “валдайской речи” 2013 г. и др.), но и в стремлении придать большую связность эклектичному нарративу “тысячелетнего великого государства”. При этом действия власти оказались как никогда близки к тому, что А.И. Миллер предлагает называть “исторической политикой”<sup>24</sup>.

В феврале 2013 г. Путин предложил “*подумать о единых учебниках истории России для средней школы... построенных в рамках единой концепции, в рамках единой логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого*”<sup>25</sup>. Для подготовки “единой концепции”, порученной Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Российской академией наук, была создана рабочая группа под руководством спикера Государственной Думы VI созыва и председателя Российского исторического общества С.Е. Нарышкина, в состав которой вошли историки, общественные деятели и учителя истории. Деятельность рабочей группы, протекавшая в режиме экспертных дискуссий, вызвала живой интерес у СМИ. Итогом данной работы стал не учебник, а Концепция нового учебно-методического комплекса (УМК) по отечественной истории, на основе которой в дальнейшем были подготовлены 2-3 линейки учебников. Хотя являющийся ядром Концепции “Историко-культурный стандарт” и предлагает “принципиальные оценки ключевых событий прошлого”<sup>26</sup>, опасения относительно того, что он станет неким аналогом “Краткого курса истории ВКП(б)”, навязывающим “единственно правильное” понимание истории, не оправдались. Составной частью Концепции стал “Примерный перечень трудных вопросов истории России”, сократившийся в ходе обсуждения с 31 до 20 позиций. По этим вопросам должна быть подготовлена “серия тематических модулей, методических

<sup>24</sup> По определению А.И. Миллера, *историческая политика* – это особая конфигурация методов, предполагающая “использование государственных административных и финансовых ресурсов в сфере истории и политики памяти в интересах правящей элиты” [Миллер 2012: 19]. Данный термин возник как категория политической практики в 1980-х годах в ФРГ, затем в 2000-х годах – в Польше.

<sup>25</sup> Путин В.В. 2013. Выступление на заседании Совета по межнациональным отношениям. – *Президент России. Официальный сайт*. 19.02. Доступ: <http://www.kremlin.ru/news/17536> (проверено 11.09.2016).

<sup>26</sup> *Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории*. 2013. Доступ: <http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf> (проверено 11.09.2016). С. 2.

пособий и книг для учителя, а также дополнительных справочных материалов, соотносящих наиболее распространенные точки зрения на эти события”<sup>27</sup>. Предполагается, что они должны быть донесены до учащихся. Кроме того, новые учебники оснащены современным методическим аппаратом; они не только дают ответы, но и ставят вопросы, ориентирующие на самостоятельную работу и поиск дополнительной информации. Тем не менее опасения по поводу возможной унификации школьного курса истории на основе заданной идеологической схемы нельзя назвать совершенно беспочвенными, если учесть, что школьники должны сдавать Единый государственный экзамен по истории. Многие зависит от того, как сложится практика преподавания на основе нового “Историко-культурного стандарта”.

Видимым следствием более пристального внимания к работе с официальным историческим нарративом, судя по рабочему календарю президента, стало расширение репертуара событий, иллюстрирующих “тысячелетнюю историю” России (см. рис.). Начиная с 2013 г. стали устраивать торжественные приемы по случаю введенного еще в 2007 г. Дня Героев Отечества — памятного дня, посвященного чествованию Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы; складывается соответствующий ритуал. В 2013 г. Путин участвовал в празднованиях 1025-летия крещения Руси и 225-летия Центрального духовного управления мусульман России; в 2014 г. открывал памятники героям Первой мировой войны и Александру I в Москве; в 2015 г. устраивал прием по случаю тысячелетия преставления святого равноапостольного князя Владимира и посещал выставку, посвященную 2000-летию Дербента. Регулярными стали встречи президента с историками и музейными работниками. Все это свидетельствует о более систематическом подходе к политике памяти.

153

Вместе с тем и первые результаты такого подхода, и используемые при этом технологии вызывают противоречивые оценки.

С одной стороны, можно согласиться с выводом А.И. Миллера: власть стремится не только определять повестку дня в области политики памяти, но и контролировать общественные дискуссии о прошлом с помощью созданных по ее инициативе квазиэкспертных центров — Ассоциации школьных учителей истории и обществознания (2010 г.), Российского исторического и Российского военно-исторического обществ (2012 г.). С другой стороны, по его же справедливому заключению, эти центры “не только опосредовали” политику власти, “но и (отчасти) выступали как площадки для артикуляции экспертного и общественного мнения” [Миллер 2013: 122-124], что, казалось бы, создает условия для взаимодействия профессиональных сообществ и власти “в режиме диалога и даже согласия” [Миллер 2014: 49]. История с разработкой “Историко-культурного стандарта” показала, что исход инициированной властью дискуссии во многом определялся профессиональными экспертами.

Однако уже в начале в 2014 г. под влиянием международного кризиса, вызванного событиями на Украине и принятием Республики Крым в состав России, ситуация резко изменилась. В условиях острой конфронтации со странами Запада политика идентичности стала рассматриваться как фактор национальной безопасности. В ноябре 2014 г., выступая перед молодыми учеными и преподавателями истории, Путин прямо разъяснял: “Мы видим,

<sup>27</sup> Там же. С. 80.

что предпринимаются попытки... перекодировать общество нашей страны, а это не может быть не связано с попытками историю переписать, причесть ее под чьи-то геополитические интересы”<sup>28</sup>. В этом контексте часть властвующей элиты взяла курс на авторитарное навязывание *апологетического нарратива* национального прошлого. Это, прежде всего, коснулось памяти о Великой Отечественной войне: триумфалистский нарратив о Великой Победе, превратившийся в главную опору современной российской идентичности, постарались защитить от конкуренции, в том числе — законодательно. В мае 2014 г. был принят “мемориальный” закон, устанавливающий уголовную ответственность за “распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенное публично”<sup>29</sup>. Апологетический нарратив широко использовался в медийной пропаганде; при этом оппоненты подвергались стигматизации как “национал-предатели”. В сентябре 2014 г. А.И. Миллер с полным основанием констатировал, что “политика памяти оказалась в самом глубоком кризисе за всю историю постсоветской России” [там же: 51].

Вместе с тем активизация государственной политики памяти открыла определенные окна возможностей и для сторонников “проработки трудного прошлого”. Благодаря объединению усилий представителей властных структур, либеральной части политического истеблишмента, “Мемориала” и Русской православной церкви [там же: 49-50] удалось добиться определенных подвижек в осуществлении проектов, связанных с формированием инфраструктуры памяти о трагических страницах отечественной истории. В августе 2015 г. после трудных дискуссий Правительство РФ утвердило концепцию увековечения памяти жертв политических репрессий, в октябре того же года в центре Москвы открылся в новом здании Музей ГУЛАГа. Сдвинулся с мертвой точки давно обсуждаемый вопрос о памятнике жертвам политических репрессий в Москве — указ о возведении мемориала подписан В.В. Путиным, проведен конкурс, мемориал по проекту Георгия Франгуляна “Стена скорби” должен быть возведен на пересечении Садовой-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова. Вопрос о том, как тема “преступлений и травмы” будет вписываться в официальный нарратив, остается открытым. Сегодня как никогда очевидно, что политика памяти, проводимая от имени государства, является предметом борьбы и внутри самих государственных ведомств.

154

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эволюция официального исторического нарратива, поддерживающего новую российскую идентичность, в целом отражает динамику политического режима. Она распадается на два больших периода, связанных со сменой концепции: от “новой России” — к “тысячелетнему великому государству”. Эти периоды в целом совпадают с президентством Б.Н. Ельцина и В.В. Путина — Д.А. Медведева, однако имеют и собственные вехи эволюции (корректировка курса в середине 1990-х годов, оформление путинского нарратива к середине 2000-х годов, попытки связывания эклектического нарратива и переход к “наступательной” исторической политике в 2010-х годах).

<sup>28</sup> Встреча с молодыми учеными и преподавателями истории. 2014. — *Президент России. Официальный сайт*. 5.11. Доступ: <http://www.kremlin.ru/transcripts/46951> (проверено 11.08.2016).

<sup>29</sup> Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 128-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. — *Российская газета*. 2014. Федеральный выпуск № 6373. 07.05. Доступ: <http://www.rg.ru/2014/05/07/reabilitacia-dok.html> (проверено 11.08.2016).



На протяжении четверти века после распада СССР подходы к работе над актуализированным прошлым менялись, но неизменными оставались их общие принципы: конструируя официальный нарратив, властвующая элита ориентировалась не только на желаемую модель российской идентичности, но и на задачи легитимации собственного политического курса. При этом она не могла не принимать во внимание общественные споры, в которых сталкивались не просто разные интерпретации прошлого, но разные модели политики памяти, связанные с задачами консолидации сообщества, стоящего за российским государством, и проработки “трудного прошлого”. В 1990-х годах официальный нарратив отчасти интегрировал дискурс “преступления и травмы”, однако не справился с задачей консолидации нации, раздираемой острыми идеологическими конфликтами. В 2000-х годах предпочтение было отдано апологетическому принципу работы с прошлым, результатом чего стала эклектическая конструкция, в рамках которой тема “преступления и травмы” отводилась в лучшем случае маргинальная роль. Попытки связывания официального нарратива в 2010-х годах – во всяком случае, на нынешнем этапе – приносят неоднозначные результаты. С одной стороны, речь идет об укреплении апологетической концепции истории, которая рассматривается как “идеологическое оружие” в борьбе с внешними и внутренними врагами. Это создает угрозу возвращения к политике подавления “памяти”, не вписывающейся в официальный нарратив, подобно имевшей место в СССР. С другой стороны, связывание нарратива инициирует новый раунд дискуссий о коллективном прошлом, что открывает определенные окна возможностей и для сторонников “проработки трудного прошлого”. Дальнейший ход работы над официальным нарративом всецело зависит от вектора эволюции российского политического режима. Однако очевидно одно – работа над прошлым в ближайшие годы останется предметом государственной политики и полем борьбы различных общественных групп, а значит – предметом для политологов.

Акопов С.В. 2015. *Человек многомерный: транснациональная модель идентификации с макрополитическими сообществами (метатеоретический анализ)*. СПб.: Алетейя. 296 с.

Ассман А. 2014. *Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика*. М.: Новое литературное обозрение. 328 с.

Дубин Б. 2011. Символы возврата вместо символов перемен. – *Pro et Contra*. Т. 15. № 5. С. 6-22.

Зенкин С. 2003. Критика нарративного разума. – *Новое литературное обозрение*. № 59. Доступ: <http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/zen.html> (проверено 29.09.2016).

Зубкова Е.Ю., Куприянов А.И. 1999. Возвращение к “русской идее”: кризис идентичности и национальная история. – *Отечественная история*. № 5. С. 3-28.

Каспэ С.И. 2012. *Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай*. М.: РОССПЭН. 191 с.

Копосов Н.Е. 2011. *Память строгого режима. История и политика в России*. М.: Новое литературное обозрение. 320 с.

Малинова О.Ю. 2010. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России. – *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 90-105.

Малинова О.Ю. 2011. Макрополитическая идентичность. – *Политическая идентичность и политика идентичности. Т. 1: Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий*. Отв. ред. И.С. Семенов. М.: РОССПЭН. С. 76.

Малинова О.Ю. 2012. Символическое единство нации? Репрезентация макрополитического сообщества в предвыборной риторике Владимира Путина. — *Pro et Contra*. Т. 16. № 3. С. 76-93.

Малинова О.Ю. 2015. *Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности*. М.: Политическая энциклопедия. 207 с. Доступ: <http://mgimo.ru/upload/iblock/948/948c7fe0fbd9449b179afc8872a305d2.pdf> (проверено 29.09.2016).

Миллер А.И. 2012. Историческая политика в Восточной Европе начала XXI века. — *Историческая политика в XXI веке. Сборник статей*. Под ред. А. Миллера, М. Липман. М.: Новое литературное обозрение. С. 7-32.

Миллер А.И. 2013. Роль экспертных сообществ в политике памяти в России. — *Полития*. № 4. С. 114-126.

Миллер А.И. 2014. Политика памяти в России: Год разрушенных надежд. — *Полития*. № 4. С. 49-57.

Семененко И.С. 2012. Политика идентичности. — *Политическая идентичность и политика идентичности. Т. 1: Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий*. Отв. ред. И.С. Семененко. М.: РОССПЭН. С. 162-168.

Смит Э.Д. 2004. *Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма*. М.: Праксис. 464 с.

Сурков В.Ю. 2006. Национализация будущего [параграфы про суверенную демократию]. — *Суверенная демократия: От идеи к доктрине*. М.: Издательство “Европа”. С. 27-44.

Сурков В.Ю. 2007. Суверенитет — это политический синоним конкурентоспособности. — *PRO суверенную демократию*. М.: Издательство “Европа”. С. 33-61.

Calhoun C. 1999. Nationalism, Political Community and the Representation of Society: Or, Why Feeling at Home is Not a Substitute for Public Space. — *European Journal of Social Theory*. Vol. 2. № 2. P. 217-231.

Coakley J. 2004. Mobilizing the Past: Nationalist Images of History. — *Nationalism and Ethnic Politics*. Vol. 10. № 4. P. 531-560. DOI: <http://www.dx.doi.org/10.1080/13537110490900340>

Gill G. 2011. *Symbols and Legitimacy in Soviet Politics*. N. Y.: Cambridge University Press. 364 p.

Gill G. 2013. *Symbolism and Regime Change in Russia*. N. Y.: Cambridge University Press. 326 p.

Kalinin I. 2011. Nostalgic Modernization: the Soviet Past as ‘Historical Horizon’. — *Slavonica*. Vol. 17. № 2. P. 156-166. DOI: <http://www.dx.doi.org/10.1179/136174211X13122749974366>

Mock S.J. 2012. *Symbols of Defeat in the Construction of National Identity*. Cambridge: Cambridge University Press. viii, 297 p.

Porta D. della, Keating M. 2008. How Many Approaches in the Social Sciences? An Epistemological Introduction. — *Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective*. Ed. by D. della Porta, M. Keating. Cambridge: Cambridge University Press. P. 19-39.

Sherlock T. 2007. *Historical Narratives in the Soviet Union and Post-Soviet Russia: Destroying the Settled Past, Creating an Uncertain Future*. N.Y.: Palgrave Macmillan. viii, 273 p.

Smith A.D. 1999. *Myths and Memories of the Nation*. Oxford: Oxford University Press. 288 p.

Smith K.E. 2002. *Mythmaking in the New Russia. Politics and Memory during the Yeltsin Era*. Ithaca: Cornell University Press. 256 p.

Topolski J. 1999. The Role of Logic and Aesthetic in Constructing Narrative Wholes in Historiography. — *History and Theory*. Vol. 38. № 2. P. 198-210. DOI: <http://www.dx.doi.org/10.1111/0018-2656.00086>

Yadgar Y. 2003. Between 'the Arab' and 'the Religious Rightist': 'Significant Others' in the Construction of Jewish-Israeli National Identity. — *Nationalism and Ethnic Politics*. Vol. 9. № 1. P. 52-74. DOI: <http://www.dx.doi.org/10.1080/13537110412331301355>

DOI: [10.17976/jpps/2016.06.10](https://doi.org/10.17976/jpps/2016.06.10)

## THE OFFICIAL HISTORICAL NARRATIVE AS A PART OF IDENTITY POLICY OF THE RUSSIAN STATE: FROM THE 1990s TO THE 2000s

O. Yu. Malinova<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>National Research University Higher School of Economics. Moscow, Russia

<sup>2</sup>Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia

MALINOVA Olga Yur'evna, Dr. Sci. (Philos.), Professor of the National Research University Higher School of Economics (HSE); Principal Researcher, Department of Political Science of the Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences. Email: [omalinova@gmail.com](mailto:omalinova@gmail.com)

Received: 12.08.2016. Accepted: 29.08.2016

**Acknowledgments.** The study is a part of the Russian Academy of Sciences research program "The Historical Memory and the Russian Identity".

**Abstract.** The article explores a particular aspect of the identity policy of the Russian state — an evolution of the official historical narrative describing a genealogy of the nation. It is highly important for legitimization of the political regime as an "explanation" of continuity between collective past, present and future. The research is based on the theoretical frame that conceptualizes a historical component of identity politics and reveals factors that influence its structure in the contemporary Russian context. The author argues that there were two large periods in the development of the official narrative based on different conceptions — that of "the new Russia" and of "the thousand-years-long Russia". These periods roughly coincide with presidency of Boris Yeltsin and Vladimir Putin — Dmitry Medvedev. The construction of the new narrative maintaining the Russian identity was complicated by a necessity to match two principally different cultural models of political work at the past — that of "coping with a difficult past / collective trauma" and aimed at consolidation of the nation / nation-building. There were different approaches to this political task in different periods. In the 1990s the official narrative had integrated discourse about "trauma and crime" as a part of legitimization of the post-Soviet transformation, but it could not manage to consolidate the nation. In the 2000s the choice was made for apologetic principle of work with collective past which resulted in the eclectic construction that marginalizes the topic of "trauma and crime". In the 2010s we can see some attempts to make the official narrative more consistent which bring ambivalent results. On the one hand, in the context of the current international conflict the apologetic conception of the national past is securitized as a "weapon" against the foreign and domestic enemies. On the other hand, a new round of discussions about the national history opens some windows of opportunities for actors struggling for "coping with difficult past" agenda.

**Keywords:** identity policy; identity politics; macro political (national) identity; memory politics; symbolic politics; official historical narrative; collective memory; myth; usable past; governing elite.

### References

- Akopov S.V. *Chelovek mnogomernyi: transnatsional'naya model' identifikatsii s makropoliticheskimi soobshchestvami (metateoreticheskii analiz)* [The Multidimensional Man: Transnational Model of Identification with Macro Political Communities]. St. Petersburg: Aletheia. 2015. 296 p. (In Russ.)
- Assman A. Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. (Russ. ed.: Assman A. *Dlinnaia ten' proshlogo: Memorial'maia kul'tura i istoricheskaja politika*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. 2014. 328 p.)
- Calhoun C. Nationalism, Political Community and the Representation of Society: Or, Why Feeling at Home is Not a Substitute for Public Space. — *European Journal of Social Theory*. 1999. Vol. 2. No. 2. P. 217-231.
- Coakley J. Mobilizing the Past: Nationalist Images of History. — *Nationalism and Ethnic Politics*. 2004. Vol. 10. No. 4. P. 531-560. DOI: <http://www.dx.doi.org/10.1080/13537110490900340>
- Dubin B. Symbols of Return Instead of Symbols of Change. — *Pro et Contra*. 2011. Vol. 15. No. 5. P. 6-22. (In Russ.)
- Gill G. *Symbols and Legitimacy in Soviet Politics*. New York: Cambridge University Press. 2011. 364 p.

Gill G. *Symbolism and Regime Change in Russia*. New York: Cambridge University Press. 2013. 326 p.  
Kalinin I. Nostalgic Modernization: the Soviet Past as 'Historical Horizon'. — *Slavonica*. 2011. Vol. 17. No. 2. P. 156-166. DOI: <http://www.dx.doi.org/10.1179/136174211X13122749974366>

Kaspe S.I. *Politicheskaya teologiya i nation-building: obshchie polozeniya, rossiiskii sluchai* [Political Theology and Nation-building: General Assumptions, the Russian Case]. Moscow: ROSSPEN. 2012. 191 p. (In Russ.)

Koposov N.Ye. *Pamyat' strogogo rezhima. Istoriya i politika v Rossii* [Memory of the Strict Regime. History and Politics in Russia]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. 2011. 320 p. (In Russ.)

Malinova O.Yu. Symbolic Politics and the Constructing of Macro-political Identity in Post-soviet Russia. — *Polis. Political Studies*. 2010. No. 2. P. 90-105 (In Russ.)

Malinova O.Yu. Makropoliticheskaya identichnost' [Macro-political identity]. — *Politicheskaya identichnost' i politika identichnosti. Tom 1: Identichnost' kak kategoriya politicheskoi nauki: slovar' terminov i ponyatii*. Otv. red. I.S. Semenenko [Political Identity and the Politics of Identity. Vol. 1: Identity as a Category of Political Science: A Dictionary of Terms and Concepts. Ed. by I.S. Semenenko]. Moscow: ROSSPEN. 2011. P. 76. (In Russ.)

Malinova O.Yu. Symbolic Unity of the Nation? Representations of the Macro-political Community in Electoral Rhetoric of Vladimir Putin. — *Pro et Contra*. 2012. Vol. 16. No. 3. P. 76-93. (In Russ.)

Malinova O.Yu. *Aktual'noe proshloe: Simvolicheskaya politika vlastvuyushchei elity i dilemmy rossiiskoi identichnosti* [The Usable Past: Symbolic Policy of the Governing Elite and Dilemmas of the Russian Identity]. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya. 2015. 207 p. (In Russ.) URL: <http://mgimo.ru/upload/iblock/948/948c7fe0fdb9449b179afc8872a305d2.pdf> (accessed 29.09.2016).

Miller A.I. Istoricheskaya politika v Vostochnoi Evrope nachala XXI veka [History politics in Eastern Europe of beginning of the XXI century]. — *Istoricheskaya politika v XXI veke. Sbornik statei. Pod red. A. Millera, M. Lipman* [History Politics at the XXI century. Ed. by A. Miller, M. Lipman]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. 2012. P. 7-32. (In Russ.)

Miller A.I. The Role of Expert Communities in the Russian Memory Politics. — *Politeia*. 2013. No. 4. P. 114-126. (In Russ.)

Miller A.I. Memory Politics in Russia: The Year of the Destroyed Hopes. — *Politeia*. 2014. No. 4. P. 49-57. (In Russ.)

Mock S.J. *Symbols of Defeat in the Construction of National Identity*. Cambridge: Cambridge University Press. 2012. VIII, 297 p.

Porta D. della, Keating M. How Many Approaches in the Social Sciences? An Epistemological Introduction. — *Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective*. Ed. by D. della Porta, M. Keating. Cambridge: Cambridge University Press. 2008. P. 19-39.

Semenenko I.S. Politika identichnosti [Identity Politics]. — *Politicheskaya identichnost' i politika identichnosti. Tom 1: Identichnost' kak kategoriya politicheskoi nauki: slovar' terminov i ponyatii*. Otv. red. I.S. Semenenko [Political Identity and the Politics of Identity. Vol. 1: Identity as a Category of Political Science: A Dictionary of Terms and Concepts. Ed. by I.S. Semenenko]. Moscow: ROSSPEN. 2011. P. 162-168. (In Russ.)

Sherlock T. *Historical Narratives in the Soviet Union and Post-Soviet Russia: Destroying the Settled Past, Creating an Uncertain Future*. New York: Palgrave Macmillan. 2007. viii, 273 p.

Smith A.D. *Myths and Memories of the Nation*. Oxford: Oxford University Press. 1999. 288 p.

Smith A.D. Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism. (Russ. ed.: Smith A.D. *Natsionalizm i modernizm: Kriticheskiy obzor sovremennykh teotiy natsij i natsionalisma*. Moscow: Praxis. 2004. 464 p.)

Smith K.E. *Mythmaking in the New Russia. Politics and Memory during the Yeltsin Era*. Ithaca: Cornell University Press. 2002. 256 p.

Surkov V.Yu. Natsionalizatsiya budushchego (paragrafy pro suverennyuyu demokratiyu) [Nationalization of the Future]. — *Suverennaya demokratiya: Ot idei k doctrine* [Sovereign Democracy: From the Idea to the Doctrine]. Moscow: Izdatel'stvo "Evropa". 2006. P. 27-44. (In Russ.)

Surkov V.Yu. Suverenitet — eto politicheskii sinonim konkurentosposobnosti [Sovereignty — it is a Political Synonym for Competitiveness]. — *PRO suverennyuyu demokratiyu* [PRO (About) Sovereign Democracy]. Moscow: Izdatel'stvo "Evropa". 2007. P. 33-61. (In Russ.)

Topolski J. The Role of Logic and Aesthetic in Constructing Narrative Wholes in Historiography. — *History and Theory*. 1999. Vol. 38. No. 2. P. 198-210. DOI: <http://www.dx.doi.org/10.1111/0018-2656.00086>

Yadgar Y. Between 'the Arab' and 'the Religious Rightist': 'Significant Others' in the Construction of Jewish-Israeli National Identity. — *Nationalism and Ethnic Politics*. 2003. Vol. 9. No. 1. P. 52-74. DOI: <http://www.dx.doi.org/10.1080/1353711041231301355>